



Глеб Олегович Павловский
(5 марта 1951 — 26 февраля 2023)

Памяти человека политического

Кончина Глеба Олеговича Павловского глубоко опечалила и — здесь поневоле сбиваешься с академической лексики — как-то придавила, стало труднее думать. Мы пытаемся освоиться в этом новом, без него, мире, не просто вспоминая о нем, но и говоря — каждый по-своему — о самом главном.

Эти первые, наскоро написанные, приуроченные к беспощадной механике регулярного издания тексты — все же не только эмоциональные отклики. Мы хотим понять — уже не в развитии, но в полном и окончательном завершении — нечто значительное, далеко выходящее за пределы личной привязанности и столь же сильных, неутолимых антипатий, давших о себе знать сразу же, по скверной, но утвердившейся у нас традиции кидать камни вослед ушедшему. Горько, но совсем не странно. Здесь речь о политическом, здесь высшая степень интенсивности в размежевании врагов. Павловский давно находился вне *эффективной политики* в точном смысле этого слова, однако политика, именно и только политика была его подлинной стихией. Написать не то что книгу, но большую статью «Павлов-

ский как явление» значило бы не просто переосмыслить его слова и его дела (насколько одно вообще можно отделить от другого), но и представить их контекст — русскую историю за последние полвека. Кто способен на это? Кто решится? Кто сочтет такую задачу соразмерной своим дарованиям и амбициям? Думаю, найдется немало, но и сам Павловский не отступил бы. Он и не отступал. Масштабные задачи и политические амбиции, большая политика, которая ищет свой язык и сама пытается говорить о себе своим же собственным языком — вот с чем нам пришлось повстречаться. Мудрено ли, что эта встреча оставила столь непохожие одно на другое впечатления?

Не раз уже было замечено, но не грех и повторить, что политический масштаб измеряется, в общем, иначе, чем позволяют простые и привычные в обиходе критерии. Даже рассуждая о политическом благе, легко попасть в ловушку слишком удобных, слишком приятных нашему нравственному чувству заключений. В реальной политике все иначе, и можно только попытаться приблизиться к этой сложности, стремясь отдать должное тому, кто, боюсь, не всегда с удовольствием тащил на себе эту ношу.

Довольно давно, после каких-то выборов, оказавшихся для него как *политического технолога* более чем успешными — в том числе и вопреки прогнозам тех, кто решил тогда соревноваться с ним на этом поле и проиграл, — Павловский давал интервью на телевидении. Я после спрашивал его, правильно ли я запомнил, — и он подтвердил: «Не уверен, так ли говорил, но вполне мог». Так вот, он сказал: «Наш избиратель нечестен с самим собой». Это было высокомерие политического аристократа, но не писал ли он, далеко еще не будучи победителем, за десять лет до того: «Современное русское общество не требует самоопределения, даже как дани лицемерию»?¹ Собственно, этим все сказано. Павловский в девяностые составил себе резко негативный взгляд на состояние дел, задумал изменить это состояние вопреки господствующему мнению — которое и было, скажем вслед за Марксом, мнением тогдашних господ — и потом, на гребне политического успеха, говорил об избирательном процессе в демократической России, взятом с его технической стороны. Это не демократия народной сходки, не демократия революции, которой, по ставшему крылатым выражению Павловского, надо «вовремя дать в морду», но регулярный процесс, основанный на мало кого убеждающей, но весьма полезной фикции: будто бы каждый гражданин сознательно, ответственно, в здравом уме и твердой памяти (памяти — особенно, потому что лишь придуманный гражданин помнит свои прежние мнения и решения и готов за них отвечать) опознает свой интерес и манифестирует его легальным образом в формате выборов. Будучи же «нечестен с самим собой», реальный гражданин с деланным изумлением и подлинной обидой отказывается видеть в том, что получилось, результаты своих решений. Он винит искусных обманщиков, введших его в соблазн. Здесь — место политического технолога, охотно принимающего Пав-

1. <http://old.russ.ru/antolog/inoe/pavlov.htm>

ловского *за своего* и даже готового почтить *мэтра*, великого мастера этого цеха. Как технолога его слишком часто и хвалят, и проклинают.

Зрелище смешное и страшное. Это все равно как Макьявелли считать мастером пресловутого «макиавеллизма». А между тем несомненное сродство Павловского и Макьявелли бросается в глаза. Неудача после временного возвышения, неспособность изготовить для себя чудесный рецепт нового и более прочного успеха, тексты, которым суждена долгая жизнь, и удивительные приключения, дар аналитика с его беспощадной ясностью... Нет, все это еще не совсем то, не самое главное.

В чем существо претензий Павловского к гражданину, который с самим собой нечестен? Прежде всего — и, кажется, мне когда-то только это и удалось выяснить в наших первых больших разговорах — здесь явственное преобладание эстетического момента над этическим, и недаром первые же слова прощания, которые идут на ум, это «масштаб», «величие» (в смысле величины — «огромность») — категории эстетические. Упрек в нечестности — это не моральное осуждение, это прорвавшаяся у аристократа эстетическая брезгливость. Однако же это политическая эстетика, и если речь заходит о политическом управлении впечатлениями, эмоциями, а через них и решениями, то это, казалось бы, снова приводит нас в область не только морально, но и эстетически безразличных технологий, расчетливых и эффективных действий. Вот это и проясним.

В определенном образом устроенной вселенной, универсуме российского демократического процесса около тридцати лет назад появляется важная область: «знание-как», прикладное знание умельца. Один немецкий философ гордился тем, что сам спроектировал дом, в котором жил. Неудивительно, отвечал ему почитатель: кто мог построить такую систему философии, тот способен и дом начертить! Павловский же гордился, что среди его рабочих умений было слесарное, и вставленные им замки держались дольше, чем нынешние. Есть в этом своя символика. Он был великий техник, умелец, знавший процессы до деталей. Но знал ли он природу того, с чем так лихо управлялся? Во всяком случае, он хотел ее знать! Один из старых предрассудков, вошедших чуть ли не в аксиоматику социального знания, состоит в том, что мы способны понимать лишь то, что сами сделали. Человек понимает творения рук человеческих. Если так, то это значит, что, сформатировав устройство воздействия на демократический процесс, можно быть уверенным в том, будто понимаешь это устройство. Начинает снизу, как журналист стремится формировать мнения, но отсюда куда как далеко до ключевых, стратегических решений, которые, как он считает, не терпят отлагательства. Еще одна попытка просвещения готова потерпеть крах, не оставив следа в реальной политике. Не то что жизни одного человека, а и нескольких поколений не хватает, и *технология власти* начинает работать по-другому. Технолог оказывается наверху. Не сразу обнаруживается, что дело здесь идет к столкновению двух способов использования знания-как. Журналист старается воспитать общество к зрелости, настаивает на отказе от удобных схем и пустых надежд, вроде пресловутого воз-

вращения на столбовую дорогу цивилизации. Эксперт-технолог работает как *советник суверена* и стремится к успешной манипуляции теми, кого недавно пытался пробудить. На вершине политического успеха Павловский-технолог пытается создать общество, в котором Павловскому-журналисту нет места. Словно бы автор «Государя» конфликтует с республиканским автором «Рассуждений...». Сложные отношения Павловского с профессиональными цехами, с самодеятельными корпорациями, представлявшими собой гражданскую силу, которую он уважал, но которую часто видел помехой *правильным решениям* и стремился победить и разрушить, когда-нибудь станут предметом особого изучения.

Фортуна с ее переменчивым нравом уберегла его и нас всех от слишком быстрого продвижения в этом направлении. Зато на фундаменте знания-как он попытался воздвигнуть массив знания-что. Его мастерство в творчестве терминов, не укорененных в конвенциональной истории мысли, но интуитивно ясных и полезных, не имело себе равных, и более всех знаменитая «Система РФ» мало кого оставила равнодушным. Рассказывая о том, как «у России на этот раз получилось», Павловский, многократно используя и акцентируя слово «слабый», утверждал: это новый, во многом непонятный для самого себя род тактической удачливости, перерастающей в неразрушимость: «Тридцать лет российская мысль оплакивала хрупкость и крушение империй, а в результате у нее вышло нечто вовсе не хрупкое — Система РФ. <...> Все, что могло рухнуть, рухнуло. Российская Федерация не рухнет, поскольку ее нет в качестве государства, ансамбля национальных институтов — она лишь *государственность*, его правдоподобный и эффективный заместитель»². Слабые взаимодействия, слабые связи, слабые решения... Все это хотя и способствует выживанию Системы, равной которой у нас никогда не было, не является неуязвимым. Радикально опасным «может стать опыт включения системы на полную мощность»³. Если я правильно понимаю это рассуждение, оно про то, что в больших геополитических схватках РФ не обязательно погибнет, но может потерпеть поражение и, погибая, способна погубить весь мир.

Отсюда его геополитические заботы последних лет и особенно — последних месяцев жизни. Знание-что диктовало ему, вопреки любым идеологиям прогресса, снова притворившимся наукой, уверенность в больших ресурсах и серьезных шансах того социального и политического образования, имя которому он придумал. Историческое чутье, долгий опыт общения с мыслящим историческими эпохами Гефтером способствовали скорее катастрофическому взгляду на перспективы и деятельному стремлению по-прежнему, не унывая, искать выход. Знаменитые слова Грамши про пессимизм разума и оптимизм воли мне случалось слышать от других, сам Павловский при мне их не цитировал, но они вполне могли быть применены к нему, однако же не забудем: не только последний год, но последние четверть века ему доводилось, как доводилось и всем нам, слышать не просто про

2. Павловский Г. О. (2019). Ироническая империя. Риск, шанс и догмы системы РФ. М.: Европа. С. 16.

3. Там же. С. 378.

обреченность гибели этого удивительного создания, но про то, что оно *заслуживает гибели*, причем не просто «как все, что существует», но именно по причине своих особых политических качеств,

На это нельзя было ответить просто указаниями на живучесть. Можно высмеять тех, кто со дня на день ожидает твоего провала, но нельзя простой констатацией существования оправдать существующее. Политический имморализм безжалостен, но и беспомощен: выживание возведено в добродетель, в высшее благо, не требующее обоснований. Он оставляет его носителя без третьего рода знания: знания-ради-чего.

Кажется, за всем этим у Павловского стояла историософия, во всяком случае, для меня не очень прозрачная. Но тут я позволю себе снова вспомнить о Макьявелли. По меньшей мере два раза, один — в «Истории Флоренции», а другой — в том знаменитом письме, написанном в изгнании, которое всеми зачитано и цитировано до дыр, он пишет — о великих флорентийцах и о себе самом, что «благо отечества они любили больше, чем спасение души». Наверное, в точном религиозном смысле это страшные слова, и я бы никого не просил исследовать эти бездны. Но в наши дни есть мирской эквивалент бессмертия — временная замена ему в виде славы и репутации. «То, ради чего» Павловского было важнее славы и репутации, выше любых идеологий с их ценностями и любых философий, которые идут к ним на помощь. Это было благом отечества в простом, прямом и очень старом смысле слова.

Александр Филиппов

Глеб Павловский⁴ уникален для нынешней России тем, что он — политический человек, почти в аристотелевском смысле слова. Дело не в том, что он постоянно поглощен и заинтересован политикой, а в том, что все его действия ориентированы политически. Ханна Арендт указывала, что политика неразрывно связана с действием. Потому что действие способно менять, а политика никогда не может быть ограничена наличной реальностью, она всегда в области возможного; еще точнее — в связке между действительным и возможным. Именно там располагался Павловский.

Все вопросы, которые Павловский задавал и на которые он отвечал, относились именно к плану политического действия. Общая направленность этих вопросов — «Что возможно сделать?». Если он смотрел на какие-то события, то всегда с точки зрения того, что их понимание дает для возможного действия. Если смотрел на чьи-то чужие действия, то всегда в перспективе того, что им можно противопоставить. Павловский никогда ничего не комментировал отвлеченно, с позиций внешнего, объективного, бесстрастного наблюдателя. Он не знал этой позиции, и, вероятно, знал, что ее не существует.

4. Текст написан 27 февраля 2023 года.

Павловский избегал двух крайностей отношения к политике. С одной стороны, он никогда не путал ее с моралью. У него не было страсти к моральной правоте — никогда не хотелось оказаться правым, на стороне добра. Особенно если это местоположение делало беспомощным. Павловского раздражало желание сохранить во что бы то ни стало чистые руки, нигде не запачкаться — потому что именно этому чистоплюйству мы обязаны тем, что вокруг становится все больше грязи. Моральное суждение важно лишь постольку, поскольку оно ориентирует действие. Если оно парализует действие, то оно не представляет интереса. Какая разница, кто морально чист, если он не способен поменять мир? Как любой человек действия, Павловский ошибался, и порой ошибался крупно. Его моральные критики никогда не ошибались, потому что никогда не пытались действовать.

С другой стороны, Павловский дистанцировался от людей, которым «власть» (он любил это слово, любил его мистифицировать) кружит голову настолько, что они не мыслят себя вне ее. Это другая крайность: здесь желание чувствовать себя причастным к какому-то действию столь велико, что становится уже безразлично, что это за действие. Мораль здесь умирает, это зона технократов: не все ли равно, какую машину собирать, если это мощная машина, если дело масштабное? Когда перед ним знаменитым образом закрылись двери Кремля, он не пытался проползти под ними — как сделали бы 99 из 100 «политтехнологов». Он спокойно и почти сразу принял это как свою несовместимость с базовыми параметрами «системы» (еще одно любимое мистическое слово).

Это противоречие, к которому Павловский знал ключ, не имеет ничего общего с широко обсуждаемым спором вокруг «теории малых дел». «Малые дела», «изменение системы изнутри» — все это категорически антиполитические мировоззрения, построенные на веровании в то, что политику можно как-то «гуманизировать» изнутри, что можно напором якобы безусловно моральных действий растопить лед в душах, сделать политику чище и в конечном счете вытравить из нее все политическое (идеальная политика выглядит для них как управление хосписом). Установке Павловского это было предельно чуждо: то, что не претендует на политическое действие, нерелевантно. Хотя его уважение к действию вообще приводило к уважению к (неполитическим) действиям благодетелей: хорошо, когда люди что-то стараются делать.

Однако цену деполитизации он знал хорошо. Это была адская процедура, которую он провернул со страной; провернул в стремлении избавиться от помех в главном деле — деле постановления государства. Глеб усвоил этот «взгляд глазами государства» давно, еще в диссидентские годы. Уже тогда, по его воспоминаниям, он смотрел на происходящее не глазами «диссидента», а парадоксальным образом, глазами государства — но не того, которое его репрессировало (это было недоразумение, а не государство), а того, которое надлежит соорудить. Весь его дальнейший путь — успешная дорога к тому, чтобы к 2000-м годам оказаться в той позиции, которую он себе намыслил в 1970-е. В деле создания этой позиции он выбрал рациональную тактику — выжечь напалмом все, что может помешать

ее консолидации. Когда корабль был построен, стало ясно, что плыть ему некуда, потому что воду Павловский вычерпал. Увидев это, он поставил на «реполитизацию» (его любимый термин; редкий его термин, который я хорошо понимаю) через Медведева, после чего тут же вылетел с корабля.

После этого оказалось, что десятилетия работы наложили отпечаток: Павловский мог думать только за «государство». Ему было очевидно, что государство занимается убийством политики, причем делает это в дурном аффекте (одним из самых самокритичных его воспоминаний была дебильная победительная интонация, которую он выбрал в шоу «Реальная политика», которое он в середине 2000-х сделал себе как телеигрушку, — и как кто-то из друзей вернул его в чувство, указав на этот самодовольный большевизм). Однако думать «за оппозицию» он не умел. Он честно старался, но больше дружески критиковал — справедливо замечая, что не наблюдает никакой «оппозиции» (потому что для политически ориентированного человека субъект действия должен быть совершенно определенным). Но предложить практически ничего не мог.

После 2011 года Павловского стало принято обвинять в том, что он «архитектор» и не раскаялся. Обвиняли его, как правило, люди, которые не только никогда ничего не построили, но сделали своим жизненным принципом держаться от любых строек подальше. Я никогда не мог понять, о чем они. Павловский только и делал, что обрабатывал свой прежний опыт. Почти в любом публичном выступлении он вел напряжённый диалог с самим собой и спрашивал себя: «Что именно я сделал не так? Где была ошибка? В чем урок? Что следует делать иначе, а от чего — вообще отказаться?» Это был самоанализ человека действующего, то есть не готового критиковать себя за то, что действовал, — но внимательно разбирающегося с тем, как действовал.

Сейчас, когда идет война, ясно, чего хотели от Павловского — от него хотели, чтобы он кидался на колени и катался по полу. Так же, как сегодня заходятся в странном самобичевании люди, которые не могут определенно указать, в чем именно состоит их вина в ее развязывании. Это наводит на печальные, очень печальные размышления. Потому что катающихся по полу мы вскоре увидим очень много — и видимо, чем убедительнее они будут это делать, тем больше у них шансов на этом рынке раскаяния. Никакой работы с собой для этого не понадобится. Павловский дал пример настоящей интеллектуальной ответственности — он был строг к себе так, как только может быть строг политический мыслитель, создавший работающие идеи и идеологии. Но на это спроса нет. Спрос есть на *раскаяние в том, что действовал* — и это будущее новое убийство политики грозит будущими бедами, контуры которых уже различимы. Всякий, кто знал Глеба, понимает, что эти плевки и проклятия ему абсолютно безразличны. Зато нам они рисуют совсем печальную перспективу.

В стране белых пальто, увлеченных технократов и упоротых гуманистов Глеб Павловский спасал политику. С его уходом она не ушла. Он знал, что за ним стоит крепкая традиция русских политических мыслителей — поэтому он так старатель-

но издавал их в последние годы: большой сборник текстов народовольцев, письма из застенков, писанные Бухариным... Теперь у нас есть тюремные тетради Павловского, которые с сегодняшнего дня вышли из-под запрета и увидят свет. Если мы услышим всех этих соотечественников, то обретем способность действовать. Нам ее очень, очень не хватает.

Григорий Юдин

In the summer of 1946, confronted with Hitler's defeat in the war, and forced to defend himself before a denazification tribunal, Carl Schmitt wrote an essay about Alexis De Tocqueville, whom he characterized as a paradigmatic loser. "Every sort of defeat was crystallized in his person, and not just accidentally but as a kind of existential destiny. As an aristocrat, he lost out in the revolution... As a liberal, he anticipated the revolution of 1848 and its divergence from liberalism. He was cut to the core by the onset of terror it would bring. As a Frenchman, he belonged to a nation that was defeated after twenty years of coalition warfare... As a European, he was again in the role of the defeated since he foresaw the development of two new powers, America and Russia... that would push Europe to the margins. Finally, as a Christian... he was overwhelmed by the scientific agnosticism of his era."

My friend Gleb Pavlovsky, who passed away on February 27 this year, was also a political thinker who made his homeland out of defeat. As a self-styled Marxist, he hated the communist system, only to discover that the end of communism was also, at least temporary, the funeral of Marxism. As a Soviet man, Pavlovsky experienced the collapse of the empire as a personal tragedy and betrayal, but he never cheered the attempts to restore it. As a liberal in the last decade of his life he was struggling with a sense of guilt for actively assisting the building of autocratic regime in Russia, driven by the illusion that he was contributing to overcoming Russia's humiliating weakness. He was one of the early enthusiasts of the Internet in Russia, convinced of its transformative power, only to realize later that it brought with it the possibility of total government control and destruction of intellectual freedom. Seeing the death of a "historic man", someone who thinks contextually and not simply preaches historical lessons, was painful for him as a historian. As an intellectual he never resigned himself to the loss of interest in any real discussion. So, not surprisingly he spent the last years of his life "talking" not to his contemporaries but to his dead teacher Mikhail Gefter. Growing up among the ruins of post-World War II Odessa, Pavlovsky died unable to watch his Odessa turn into ruins again.

Pavlovsky did not complain about his defeats, he was inspired by them. He was convinced that political alternatives were born in the minds of the defeated. Therefore, bringing political alternatives to the world that has reconciled to the idea that *There Is No Alternative* is what politics is about.

Иван Крестев

Масштаб события по имени Глеб Павловский будет осознан нескоро. Не при жизни оперативных обозревателей, пользователей, оппонентов и рецензентов его кончины.

Значимый человек уходит — и ряды его закадычных друзей растут как опята.

Виделись мы нечасто. И непрестанно, каждодневно он присутствовал в моей жизни. Как теплый, бездонный океан Солярис — терпеливый и заботящийся, открытый и непостижимый, близкий и недоступный, ластящийся и застенчивый, саркастичный и нежный, волшебничающий и одинокий.

И это тепло, в каждый момент личное, было всеобщим, касалось всех, дарилось всем, кому выпало с ним соприкоснуться. Потому, наверное, найдутся сотни тех, кто искренно и полноправно числит себя друзьями, учениками, кто любил его небезответно.

Пишу не как один из них — как свидетель.

Знались мы ровно полжизни. И не было мимолетной полувстречи, где бы он не удивлял, не представлял по-новому странным.

В середине девяностых как-то встретились в очередном его кочевье — съемной квартире на Тверской или Малой Бронной, где громоздились ящики с книгами — то ли ждущими разборки, то ли готовыми к новому переезду. Открыл мне как-то странно, боком, быстро вернулся к столу с ноутбуком, посидел вполборота, но руки держал не на клавишах. А когда обернулся — в глазах у него стояли слезы.

И вдруг обронил буднично, как бы продолжая начатый разговор:

— Понимаю, почему монахи, случается, плачут, общаясь с мирянами и занимаясь житейскими делами...

Постеснялся от неожиданности спросить его тогда, что за книжица была на столе.

Спустя годы наткнулся на текст о преподобном Силуане Афонском.

«Для человека, видящего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, земная жизнь становится тяготой, безрадостной, и он с плачем ищет снова той жизни, к которой ему дано было прикоснуться».

Он видел. Он испытал. Он прикоснулся.

Сергей Чернышев